

ГЕОГРАФИЯ УРАЛА В МЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗАХ

УДК 82-1:913(470.5)"1920"

DOI: 10.58529/2782-6511-2025-4-2-6-19

Подлубнова Юлия Сергеевна

к. филол. н., научный сотрудник центра истории литературы, Институт истории и археологии Уральского отделения РАН (Россия, Екатеринбург)

ORCID: 0000-0001-5210-0861

E-mail: tristia@yandex.ru

«Здесь будет смерть лихая скоро играть измятым ковылем».

География и географическое воображение

в комсомольской поэзии Урала 1920-х гг.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена описанию параметров географического мышления и географического воображения 1920-х гг. и анализу их репрезентаций в «поэзии боев и походов», которая, если определять ее в художественных координатах, являлась поэзией неоромантического толка, а в региональном социолитературном контексте (мы говорим про Урал) — комсомольской. География, присущая эпохе 1920-х гг., пропитанной интернациональными идеями, формировалась ожиданием мировой революции и военных походов за пределы границ Страны Советов и потому не совпадала с политико-административной картой мира, нивелировала значение государственных, культурных и иных границ и мыслила, скорее, фронтами, зонами пограничья, имеющими ландшафтные, природные или культурные особенности, но притом потенциально включенными в процессы классовой борьбы, смены власти/строя и последующей советизации. Ожидание мировой революции и одновременно ностальгия по отодвигающимся с каждым годом событиям Гражданской войны объясняет интерес комсомольской поэзии на Урале 1920-х гг. (речь идет о таких поэтах, как С. Васильев, Е. Вечтомова, И. Келлер, В. Макаров, В. Молчанов, Г. Троицкий, В. Шипулин и др.) к географии, а также широкую ее представленность в поэтических текстах (регионы, топосы, ландшафты и пр.). Отсюда востребованность в этой поэзии мемориального (исторически конкретизированного) и милитаристского (расположенного большей частью в зоне воображаемого) дискурсов, по-разному монтирующих историческое и географическое, реальное и воображаемое, но так или иначе поверяющих настоящее через революционные идеалы и романтику вооруженной борьбы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: географическое воображение, интернационализм, революционная география, неоромантизм, советская поэзия 1920-х гг., комсомольская поэзия Урала

Для цитирования: Подлубнова Ю. С. «Здесь будет смерть лихая скоро играть измятым ковылем». География и географическое воображение в комсомольской поэзии Урала 1920-х гг. // Историко-географический журнал. 2025. Т. 4, № 2. С. 6–19. DOI: 10.58529/2782-6511-2025-4-2-6-19.

Поступила в редакцию 23.01.2025

Принята к публикации 15.05.2025

GEOGRAPHY OF THE URALS IN MENTAL IMAGES

UDC 82-1:913(470.5)"1920"

DOI: 10.58529/2782-6511-2025-4-2-6-19

Yulia S. Podlubnova

Candidate of Philological Sciences, Institute of History and Archaeology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Russia, Ekaterinburg)

ORCID: 0000-0001-5210-0861

E-mail: tristia@yandex.ru

“Here the Dashing Death Will Soon Play with the Crumpled Feather Grass”. Geography and Geographical Imagination in the Komsomol Poetry of the Urals in the 1920s

ABSTRACT. The article describes the parameters of geographical thinking and geographical imagination of the 1920s and the analyses their representations in the «poetry of battles and crusades» which if defined in artistic coordinates was the neo-romantic type poetry and in the regional socio-literary context (we are talking about the Urals) – Komsomol poetry. The 1920s soviet geography permeated with international ideas was shaped by the expectation of a world revolution and military campaigns beyond the borders of the Soviet Union. That is why it did not coincide with a world political and administrative map, offset the significance of state, cultural and other borders and thought rather of frontiers, border zones with landscape, natural or cultural features but at the same time potentially included in the processes of class struggle, change of power/system and subsequent Sovietization. The expectation of a global revolution and at the same time nostalgia for the events of the Civil War which were pushed back with each passing year explains the interest of Komsomol poetry in the Urals of the 1920s (we are talking about such poets as S. Vasiliev, E. Vechtomova, I. Keller, V. Makarov, V. Molchanov, G. Troitsky, V. Shipulin and others) to geography as well as its wide representation in poetic texts (regions, topoi, landscapes, etc.). Hence there was a demand in this poetry for memorial (historically concretized) and militaristic (located mostly in the imaginary zone) discourses differently assembling the historical and geographical, the real and the imaginary but on the whole verifying the present through revolutionary ideals and the romance of armed struggle.

KEYWORDS: geographical imagination, internationalism, revolutionary geography, neo-romanticism, Soviet poetry of the 1920s, Komsomol poetry of the Urals

For citation: Podlubnova Yu. S. [«Here the Dashing Death Will Soon Play with the Crumpled Feather Grass». Geography and Geographical Imagination in the Komsomol Poetry of the Urals in the 1920s]. Istoriko-geograficheskiy zhurnal [Historical Geography Journal], 2025, vol. 4, no. 2, pp. 6–19. DOI: 10.58529/2782-6511-2024-4-1-6-19 (In Russian).

Received 23 January 2025

Accepted 15 May 2025

ВВЕДЕНИЕ

Поэзия 1920-х гг. не была однородным полем ни в плане устройства литературной жизни, ни эстетически¹. Она довольно отчетливо делилась на столичную и провинциальную, менее отчетливо — на профессиональную и массовую (ту, что предлагали газеты, количество которых по мере восстановления хозяйственной деятельности после Гражданской войны и роста грамотности среди населения увеличивалось). Поэзия 1920-х гг. говорила голосами символистов, футуристов, акмеистов, имажинистов, пролетарских и новокрестьянских поэтов, не отказываясь при этом от следования традициям поэзии XIX в. Она была предельно широка, и тем не менее внутри нее формировались некоторые тенденции и явления, опосредующие опыт прошедшей войны и так или иначе взаимодействующие с соцзаказом и установившейся властью, которая чем дальше, тем больше предъявляла свои требования не только к изданиям, но и к создателям искусства.

Подобным феноменом, совмещавшим идеологию с художественным словом, стала, например, так называемая комсомольская поэзия 1920-х гг. Комсомольский нарратив в литературе 1920-х, как показал Е. Добренко, формировался по заказу власти², но при этом сама комсомольская поэзия, пришедшая на смену «пролетарской поэзии», «была феноменом исключительной сложности»³. Комсомольцы, «дети революции», как характеризовал их А. В. Луначарский⁴, осознанно отказались от обобщенного космизма Пролеткульта и «Кузницы» и выступали за живого человека в литературе и конкретизацию его чувств⁵. Если пролетарская поэзия, появившаяся еще до революции, ориентировалась на языки символизма (М. А. Левченко предлагает даже описывать ее «как единую художественную систему, одно из поэтических течений постсимволизма, обладающее как чертами последнего, так и чертами, характеризующими следующий этап литературного процесса, то есть социалистического реализма»⁶), то комсомольская поэзия, максимально очищенная от следов символизма, сочетала реалистические установки с романтическими. Фактически то, что мы по инерции называем комсомольской поэзией, в расширенном понимании является поэзией неоромантической⁷, наполненной грезами о мировой революции, милитарными дискурсами, апологией молодости и лирики (субъектности). «“Степные походы и трубная медь” недавнего прошлого органически включались в систему традиционной образности старой романтической поэзии, образуя новый художественный сплав, а личная причастность к недавним историческим событиям обусловила напряженность индивидуальных поэтических интонаций»⁸. Эта поэзия сводила воедино фольклорную песенность, романтическую балладность, фактологизм и внимание к деталям реализма и акмеизма, энергию агитационной речи и сентиментальный лиризм. Ее одинаково привлекали сильные герои Гумилева, экспрессивная тропика Маяковского и исповедальность Есенина⁹. Как некое эстетическое поле, она сводила вместе гражданскую лирику А. Безыменского и А. Жарова, лирические баллады М. Светлова, И. Уткина и революционную эпiku Э. Багрицкого, киплингизм Н. Тихонова и т. д. Собственно Багрицкий, поэт поколения

¹ Русская литература 1920–1930-х годов. Портреты поэтов. В 2 т. М., 2008. Т. 1; Семенова С. Г. Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов. Поэтика — видение мира — философия. М., 2001 и т. д.

² Добренко Е. От комсомольской литературы к партийной «Молодая гвардия» // Соцреалистический канон. СПб., 2000. С. 193–208.

³ Там же. С. 198.

⁴ «Молодые, богатые силой и радостью, они прекрасно знают и горечь жизни, но несколько ее не боятся. Они осознают себя не столько завоевателями, но и строителями новой земли. От этого у них такая бодрая и веселая музыка». См.: Луначарский А. В. Собр. соч. В 8 т. М., 1964. Т. 2. С. 271.

⁵ Добренко Е. От комсомольской литературы к партийной «Молодая гвардия». С. 200.

⁶ Левченко М. А. Индустриальная свирель: Поэзия Пролеткульта 1917–1921 гг. СПб., 2007. С. 9.

⁷ Как отмечает М. Н. Липовецкий, «такие поэты, как Михаил Светлов, Эдуард Багрицкий, Николай Тихонов, Владимир Луговской, Павел Коган, Константин Симонов, успешно вписали неоромантическую эстетику в рамки социалистического реализма». См.: Липовецкий М. Н. Неоромантизм в русской поэзии XX–XXI веков: смысл и границы понятия // Филологический класс. 2018. № 1 (51). С. 14.

⁸ Русская литература 1920–1930-х годов. Т. 1. С. 658.

⁹ Корниенко Н. В. «Покрой есенинский мне узок...» Есенинский текст и комсомольская поэзия в 1925–1926 гг. // Наш современник. 2009. № 10. С. 236–257.

Пастернака — Цветаевой, и Тихонов, в прошлом царский офицер, без которых сложно представить это поле, сигнализируют, что речь идет не только о комсомольской поэзии как поэзии комсомольцев, но и о неоромантической советской поэзии, во многом движимой молодыми авторами, однако не сводимой к их творчеству.

Очевидно, что романтическая поэзия, пусть даже в изводе, отформатированном под запросы советской политической системы, не могла не иметь отношения с музой дальних странствий и не отказывалась от производства географических образов (имагинативной географии как таковой, неизбежно текстуализированной). Между тем географическое мышление и географическое воображение¹⁰ поэтов 1920-х гг. формировал интернационалистский дискурс ранней советской идеологии. Пламенный интернационалист Л. Д. Троцкий провозглашал: «Социалистическая революция начинается на национальной арене, развивается на интернациональной и завершается на мировой»¹¹. Что касается поэзии 1920-х гг., восприимчивой к лозунгам подобного рода (и пользовавшейся покровительством Л. Д. Троцкого), то нельзя не согласиться с А. Ю. Овчаренко, отмечающим, что «идея мировой революции по своей устремленности к идеалу в будущем была весьма романтична, как первоначально романтичны были и идеалы самой русской революции. Такие идеалы не предполагали заботы о настоящем, об уюте, о быте. Эта безытнность и принципиальная неустроенность, нежелание обрастать вещами и комфортом проявилась прежде всего в поэзии “романтики боев и походов”. Э. Багрицкий писал: “Степям и дорогам // не кончен счет... Сабля да книга // чего еще?”»¹². «Романтическим идеалом для многих было светлое будущее, Мировая Советская Социалистическая республика (создание которой было закреплено в конституции СССР 1924 г.), однако с отказом от идеи мировой революции (в конституции 1936 г. об этом уже не говорилось) этот романтический идеал смещался в прошлое: идеалом стали романтика революции и гражданской войны, “чувство сотоварищества”, о котором писал И. Катаев. Вопрос “Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались?” из знаменитой “Каховки” М. Светлова стал своеобразным паролем для посвященных»¹³ и т. д.

Добавим, что помимо хронологически отдаленной от исторических сражений «Песни о Каховке» (1935) ярчайшим образцом поэзии “романтики боев и походов” стала «Гренада» (1926) М. Светлова (в которой О. Ронен, увидев отсылки к Пушкину, например, «Черной шали», обозначил глубинный сюжет гибели Мировой революции¹⁴). «Я хату покинул, / Пошел воевать, / Чтоб землю в Гренаде / Крестьянам отдать»¹⁵, — признавался герой одного из самых известных, читай, канонических текстов советской поэзии.

«Гренада» дает представление об отношениях с пространством в советской неоромантической поэзии 1920-х гг. География здесь имеет значение в контекстах революционной (по существу, колониальной) экспансии и революционного (утопического) воображения, подчас не смыкающегося с географическими реалиями на земле (выдуманность Гренады как локуса). Соответственно, принципиальным моментом в советской неоромантике становится *фокус на том, что находится за пределами видимого (во многом воображаемом)*, но что потенциально готово для социального и в некотором смысле метафизического переустройства. Это своего рода *география дальнего прицела, география экспансии*, не всегда знакомой с реальностью топосов, ландшафтов и пр.

¹⁰ Мы исходим из того, что «географическое воображение обеспечивает сознательные или бессознательные способы мышления о пространстве и месте, которые, в свою очередь, делают возможной власть по формированию [пространственных] практик, паттернов поведения и социальных структур». См.: Гизекинг Д. Д. Географическое воображение / пер. с англ. В. Капустина // Syg.ma. URL: <https://syg.ma/@vlad-kapustin/dzhien-dzhiek-giziekigh-gieoghrafichieskoievoobrazhieniie> (дата обращения: 10.05.2025).

¹¹ Троцкий Л. Д. К истории русской революции. М., 1990. С. 286.

¹² Овчаренко А. Ю. «Сабля да книга — чего же еще?»: романтика революции в русской литературе 1920–1930-х годов // Вестник РУДН. Сер. Вопросы образования: языки и специальность. 2015. № 1. С. 165.

¹³ Там же.

¹⁴ Ронен О. Лексические и ритмико-синтаксические повторения и «неконтролируемый подтекст» // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1997. Т. 56, № 3. С. 40–41.

¹⁵ Светлов М. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 107.

Кроме того, в пространственных координатах поэзии 1920-х оказывается важна сама динамика, движение, придающее смысл пространству, ибо ни ландшафты, ни реалии культурной географии не играют здесь роли как таковой, разве что создают экзотический антураж («географическую зрелищность», если воспользоваться термином И. Видугириты¹⁶), характерный для романтической литературы. Точка, из которой начинается *путь героев* в балладах советских неоромантиков, так же эфемерна, как и чаемое пространство новой революции.

Наконец, мы видим, как оппозиция родное/чужое трансформируется в интернационалистически настроенной поэзии 1920-х гг. в концепцию, что *ничего географически чужого не существует*, обнуляющую представления в том числе о государственных границах, административной географии и заставляющую говорить вместо них о фронтах¹⁷ и зонах с границами, не поддающимися дескрипции и детальному картографированию. «Я не знаю, где граница / Между Севером и Югом, / Я не знаю, где граница / Меж товарищем и другом»¹⁸, — симптоматично признавался М. Светлов в еще одном стихотворении «Граница» (1927).

Сказанное справедливо и в отношении поэзии 1920-х гг. на Урале, ставшей предметом нашего исследования. Однако и архитектура пространства уральской литературы, и художественные практики уральских поэтов все же требуют некоторых отдельных пояснений.

Начнем с того, что 1920-е гг. на Урале прошли под знаком смены поэтических поколений. Так, пореволюционное время — вплоть до 1923 г. — можно назвать временем опоздавшего символизма, спрятанного за манифестами пролетарских объединений и активностью доморожденных футуристов. Иная эстетика преобладала у следующего за футуристами поэтического поколения — молодежи, тесно связанной с рабфаками уральских университетов (в Свердловске и Перми), а затем с литературной группой «На смену!» и рядом молодежных газет. По сути, 1920-е на Урале проходили непосредственно под знаком форсированной мобилизации в литературу молодежи¹⁹, и комсомольская поэзия здесь была по своему составу действительно поэзией комсомольцев (а также примкнувшей к ним молодежи).

Именно с этим поколением в региональную поэзию пришел новый герой — студент-рабфаковец, алчущий знаний и устремленный в светлое будущее. «Взор твой критикой блесит! / Скоро ты захватишь в руки / Новой мудрости резец / У преддверия науки — / Разрабфаковский боец!»²⁰ — писал Василий Молчанов. «Шрам глубокий на смуглой шее / Подарил на Дону казак, — пытался реконструировать биографию студента Иосиф Келлер. — А теперь целый день над книжкой...»²¹. «Вечера, / Собранья, / Книги, / Неразгрызенный “гранит”...»²² — изображал быт рабфаковца пермский Борис Непеин. «Рабфака я питомец верный. / Рабочий, взятый от станка»²³ — больше всего стихотворений рабфаку и рабфаковцам посвятил Аркадий Мальшаков. Его автопортрет был выполнен в духе времени, с учетом смычки литературной молодежи и пролетариата. «Кто не за нами?! / Тот против нас... / Близится час — / Старая школа / Рухнет с устоев гнилых!»²⁴

Вслед за рабфаковцем уже в середине 1920-х гг. в поэзию Урала ворвался герой-комсомолец, имеющий за плечами самый разнообразный жизненный опыт, но преимущественно — войны и работы. «Вот он, вот, с голубыми глазами, / Молодой, девятнадцати лет. / Жизнь своими большими шагами / В нем глубокий оставила след»²⁵, — создавал портрет современника

¹⁶ Видугирите И. Гоголь и географическое воображение романтизма. М., 2019.

¹⁷ См., например: Соколов К. С. Герой азиатского фронта в советской поэзии конца 20–30-х годов // Вестник Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 4. С. 123–130.

¹⁸ Светлов М. Указ. соч. С. 114.

¹⁹ Подлубнова Ю. С. Становление культурной идентичности советского человека: молодежные литературные группировки Екатеринбург/Свердловска 1920-х годов // Человек советский: за и против = Homo soveticus: pro et contra. Екатеринбург, 2021. С. 81–100.

²⁰ Молчанов В. Новому рабфаковцу // Студент-Рабочий. 1924. № 9 (17). С. 60.

²¹ Келлер И. Рабфаковец // Студент-Рабочий. 1923. № 2 (10). С. 12.

²² Непеин Б. Рабфаковец // Звезда. 1927. 6 февр.

²³ Мальшаков А. Знакомый гул // Студент-Рабочий. 1923. № 3 (11). С. 3.

²⁴ Аркмаль. Рабфаковцы мы... // Студент-Рабочий. 1923. № 4–5 (12–13). С. 69.

²⁵ Грезов А. Комсомолец // Студент-Рабочий. 1925. № 1 (19). С. 55.

А. Грезов (студенческий псевдоним Василия Макарова). «Вышел я от мартеновской печи, / От лоскутьев горячих огней, / Вышел прямо солнцу навстречу / К скатам гор и перронам огней»²⁶, — авторефлектировал Виктор Тарбеев-Комсомольский. «Здравствуй, фабрика, станок и гайки, / Наш Рабфак — высокою стеной! / Мы из юной сильнорукой стайки / Будем, будем ратью мировой»²⁷, — интернационально мыслила Елена Вечтомова.

Свои лирические этюды уральские поэты 1920-х строили зачастую вокруг весны (символически соотносящейся с молодостью героев и самой страны), любви, девушки (как правило, включенной в трудовую деятельность, но не теряющей женского обаяния), деревни, с которой так или иначе были биографически связаны многие уральские рабфаковцы и комсомольцы, и простора без границ, обладающего признаками советского (или потенциально советского).

Кто был кумиром уральской поэтической молодежи, как бы пришедшей на смену футуристам и пролетарским поэтам? Без сомнения, В. Маяковский, С. Есенин, а также весь пул новых советских романтиков: от Э. Багрицкого, М. Светлова и И. Уткина до М. Голодного, В. Луговского и Д. Алтаузена. Осталось свидетельство свердловского критика К. В. Боголюбова: «насменовцы» «заучивали наизусть стихи Багрицкого, Есенина, с радостью набрасывались на свежие стихи Безыменского, Жарова, Казина, Светлова»²⁸. Вслед за столичными поэтами авторы из Свердловска, Перми, Челябинска, Оренбурга, Ижевска, Тюмени, Кургана и т. д. довольно быстро освоили формы героической баллады и лиро-эпической поэмы. Их тексты наполнились сюжетикой, фактологией, приметам времени, конкретикой быта, а также милитарными революционными дискурсами и чаяниями мировой революции.

И здесь стоит отметить, что даже на фоне сменяющихся поэтических поколений в 1920-х гг. общей характеристикой поэзии на Урале была принципиальная инерционность, сложившаяся как некий факт региональной литературы намного раньше, в конце XIX в., но так и не преодоленная в начале XX в. Уральские авторы не стремились создавать новые теоретические рамки для своего творчества, новые поэтические языки, способные выдерживать символическую конкуренцию с тем, что транслировали столичные литераторы, но воспринимали и подхватывали уже сформировавшиеся тенденции. Это касалось и уральских комсомольцев.

Отталкиваясь от пролетарской поэзии, наполненной абстрактными символами и обобщениями (например, изображениями революции на всем земном шаре или во всей вселенной²⁹), уральская молодежь, начиная с середины 1920-х, открывала для себя географию. В ее текстах появлялись названия реальных стран и городов, обозначились ландшафты и в некоторых случаях национальная и культурная специфика. Во всем мире творится социальная несправедливость, близок час мирового пожара, его вестники уже здесь — лейтмотив советской неоромантики был унаследован от пролетарской поэзии, но переосмыслен в географически реальных координатах. Сюжеты социального неравенства и классового угнетения в мире хищного капитализма обросли как реалистическими деталями, так и романтической экзотикой: см. «О германской девушке» С. Васильева, «Английскому шахтеру» И. Петренко, «Китай» Е. Буйницкого, «Угнетенное Марокко» Е. Великанова и т. д.

Одевайся пурпуром, солнце,
Колыхай по лазури набат!
Сегодня на фабрике японцы
Убили китайца-раба³⁰, —

писал В. Молчанов в антиимпериалистической поэме «Шанхай» (ее опубликовал свердловский журнал «Товарищ Терентий» в 1925 г.).

²⁶ Тарбеев-Комсомольский В. Утро // Студент-Рабочий. 1925. № 1 (19). С. 55.

²⁷ Вечтомова Е. Город // Звезда. 1926. 17 окт.

²⁸ Боголюбов К. Б. Начало // Урал. 1961. № 2. С. 84–85.

²⁹ Васильев И. Е. Топика и мифопоэтика революции в массовой поэзии Урала 1917–1919 гг. // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2017. Т. 19, № 3 (166). С. 128–145.

³⁰ Молчанов В. Шанхай // Товарищ Терентий. 1925. № 12. С. 18.

Где ты, где ты, старый Китай —
 Небо голубое?..
 Да и трубы-то все чужие,
 А свои — по пальцам считать...
 Затянули Шанхай в хомуты тугие
 Тащить чужестранцев кладь!
 Посмотреть ли на порт Шанхая,
 Посмотреть ли на воды Вань-пу —
 Всюду, всюду чужое шагает...³¹

В поэме нет ни слова о российском, а затем советском доминировании в северной части Китая, ни о «русском Шанхае»³². Принципиально «чужой» здесь объявляется империалистическая Япония, осуществляющая экспансию на континент. Автор, как бы следующий за газетными новостями, фиксирует нарастающее социальное недовольство в Шанхае и окрестных деревнях, бунтующий Пекин и грозу в Кантоне, и наконец, революционно пророчесствует: «По лицу великого Китая / Побежит Октябрьская волна»³³.

Политически выверенные сюжеты угнетения и освобождения от гнета в советской неоромантической поэзии неизменно аранжировались ландшафтной и культурной экзотикой («Марокко» М. Светлова, «Афганская баллада» и «Сами» Н. Тихонова). Подобной экзотикой расцвечена, например, поэма «Пастух» А. Киселева, напечатанная в литературном приложении к пермской газете «Звезда».

Аул запрятался в ложбине у реки,
 Где разговор заводят ивняки.
 В ауле черная татарка Марганэ
 Родила сына утром на заре³⁴.

Поэма наполнена топонимическими, ландшафтными, религиозными и пр. знаками мусульманского Востока (имена героев, муллы, ландшафты и хозяйственная деятельность), фронта, готового к советскому преображению. Не играет даже особой роли, какой именно Восток перед нами — территориально относящийся к СССР или находящийся за его пределами — революционная идея, как мы уже отмечали, принципиально трансгранична³⁵.

Помимо расхожих сюжетов революционного преобразования неоромантика обращалась и к советским героям, пантеон которых формировался в 1920-е гг., осваивая биографическую географию. К примеру, к 60-летнему юбилею «буревестника пролетарской революции» М. Горького, который широко отмечался в Стране Советов, В. Макаров написал стихотворение «Дом в Сорренто», сделав центральным сюжет паломничества к «стоящему под солнцем» около залива и «седого Везувия» «белому дому».

Я иду счастливый...
 Надо мною
 Очарованною тишиной —
 Рощи кипарисовой
 От зноя
 Пенится зеленое вино³⁶.

³¹ Там же.

³² О чем, к примеру, писали поэты-эмигранты, знавшие китайские реалии не понаслышке. Тинтин Х. Образ Китая в поэзии русской дальневосточной эмиграции (1920–1940-е годы): дис. ... канд. фил. наук. Пермь, 2024.

³³ Там же. С. 18.

³⁴ Киселев А. Пастух. Поэма // Литературная страничка. Приложение к газете «Звезда». 1928. 14 апр.

³⁵ Согласимся с К. С. Соколовым, увидевшим точки схождения романтического киплингианства и революционной экспансии в советской поэзии 1920–1930-х гг.: «Азиатский фронт советской цивилизации требует от представителя передового строя того же, чего, по Киплингу, требует колониальный фронт от представителя цивилизации, — привития “подлинных ценностей”». См.: Соколов К. С. Указ. соч. С. 126.

³⁶ Макаров В. Дом в Сорренто // Уральский рабочий. 1928. 31 марта.

Навстречу герою, вдохновленному южной природой и приобщением к советскому сакральному, движется сам М. Горький.

И бредет, вздыхая ароматы
От цветов, плывущие пылью,
Человек,
Слегка сутуловатый,
С жестким и разительным лицом³⁷.

Встреча поэта и писателя, вписанная в «райские» ландшафты юга Италии, оказывается сном, то есть продуктом географического воображения³⁸, визуализировавшего то, что уральский автор мог видеть в лучшем случае в художественной и печатной продукции своего времени: Неаполитанский залив, Везувий как доминанту региона Кампания, гористую местность, покрытую рощами, среди которых располагаются виллы, и т. д. Сорренто, без сомнения, домысливается и присваивается автором, носителем интернациональной идеи и младшим единомышленником Горького, уже присвоившего этот локус своим продолжительным пребыванием в нем. Уральский поэт, таким образом, даже перенесясь через границы государств за тысячи километров, оказывается в пространстве, не имеющем маркеров чужого.

В том же юбилейном номере «Уральского рабочего» опубликовано еще одно стихотворение о воображаемой встрече с Горьким. Его автор Иван Шухов также следует «по местам жизни классика», но выбирает волжские просторы (с рекой, степями и курганами), которые теоретически были доступнее для уральских поэтов. И здесь не менее, а то и более нагляден принцип: для человека советского нет и не может быть чужой земли, тем более если эта земля каким-либо образом вписана в его культурные координаты.

Обращаясь к географии СССР, уральские авторы все же несколько иначе оперировали идеологическими схемами и иначе монтировали политически окрашенные сюжеты, чем в случае с поисками классовой борьбы в иных странах. Думаю, показательно в этом плане стихотворение-травелог (вот она, идея движения, столь характерная для советской неоромантики) Е. Вечтомова «Украина». По сюжету, героиня едет в поезде по Украине, а затем — обратно на Север (Урал). Впечатления, полученные от железнодорожного путешествия, растянуты во времени и носят панорамный, но притом крайне фрагментированный характер³⁹. Вечтомова не описывает увиденное, но визуально выхватывает отдельные детали. Она избегает экзотизации/фронтиризации пространства Украины и актуализации пластов памяти о событиях Гражданской войны, какие были характерны для поэзии 1920-х, обращающей к украинским реалиям, но предпочитает реалистическую оптику, позволяющую, тем не менее, присвоить пространство, связать с ним конкретные эмоции, ощущения и в целом приподнятое настроение. «Пахнет воздух в январе весной, / И легли следы, как будто четками, / По Днепровской ленте голубой...»⁴⁰ Героиня, прочувствовавшая пространство, не выходя из поезда, признается: «Но тут, где все чужое, / Я чувствую — мое!»

Финал стихотворения свидетельствует о том, что присвоение прошло благополучно, поскольку советские люди, в какой бы части страны ни находились, наделены родными сердцами, то есть их связывает между собой не столько пространство, сколько культура и история, центральными событиями которой является свершившаяся революция и дальнейшая советизация тех частей империи, которые вошли в состав Союза.

А я везу для северных ребят
Приветы с крейсера «Червона Україна»...

³⁷ Там же.

³⁸ Как справедливо замечает Д. Д. Гизекинг, «визуализации, такие как фотографии, воспоминания, живопись и образы, также формируют пространственное зрение разума», что, добавим от себя, без сомнения, отражается в последующей культурной продукции, в том числе текстуализированной. См.: Гизекинг Д. Д. Указ. соч.

³⁹ Что характерно для оптики путешественника на поезде. См.: Власова Е. Урал из окна вагона: средства коммуникации и травелог // Культура путешествий в Серебряном веке. Исследования и рецепции. Екатеринбург; М., 2020. С. 249–258.

⁴⁰ Вечтомова Е. Украина // Звезда. 1927. 6 февр.

Везде-везде всегда друзья найдутся,
И наш привет года не заглушат!
Коль в ритме дней сердца родные бьются...⁴¹

Загадочный, без конкретных географических указаний, Север в финале текста Вечтмовой за счет фигуры умолчания (и коннотаций фронта) экзотизируется гораздо больше, чем увиденная и описанная Украина.

При этом сам Север в 1920-х гг. становится объектом для исследований (возвращение к дореволюционным исследовательским практикам) и художественных описаний — ключевым топосом советской географии и романтизированной культуры⁴².

Стоит обратить внимание на поэму «Гибель экспедиции» (1927) Елены Рановой — поэтессы из круга ничевоков, переехавшей на Урал вслед за ссыльным мужем и здесь перестроившейся на советский лад. В ее стихах 1923–1927 гг. стал центральным образ тундры, бескрайней, непокорной, несущей холод и гибель. Как вспоминала сама поэтесса: «Я одно время жила на севере Урала, и когда там дули холодные ветры, продувая насквозь тайгу, которая окружала наш городок, люди говорили: “Это ветер с тундры...”»⁴³. Урал с его суровыми климатическими условиями и северная тундра соединялись в текстах Рановой, являя просторы моря ледяного, полярного, сопряженного с пространством смерти. В поэме «Гибель экспедиции», посвященной переписи населения на Крайнем Севере, на первый план выходит образ страшного ветра: «Черный, огромный, крыльями кондора / Ветер метнулся со льдов...»; «Только ветровый рев остервенелый / По тундре мотается». Сама тундра мертва, «даже птички крылья не трепещут», и только олени в состоянии прокладывать путь по ней. Человеческая жизнь здесь хрупка: служащие Статбюро, отправившиеся в тундру, гибнут. «А те четверо не видели, как рассвело. / Над ними ветер тундру выровнял»⁴⁴. Поэма следует экзистенциально-мифологической линии изображения Севера в литературе конца XIX — начала XX века⁴⁵ и одновременно приближается к советской героической концепции освоения экстремального пространства «Ледяной Сахары».

Однако сам Урал вовсе не всегда соотносился в поэзии 1920-х гг. с экстремальным Севером и рассматривался, скорее, как фронт между цивилизацией и пространством подвига. Так, поэты то предлагали переосмыслить уральское прошлое в революционном ключе: «Угрюм Урал, и шуток он не любит <...> / Слыхал Урал / И песни Емельяна, / Слыхал Урал / И сабель звон» (А. Исетский)⁴⁶. «— Урал нас вихрями гонял, / Тоской родного края... / Мы шли, оружием звеня, / С Уфы до Таганая...» (Г. Троицкий)⁴⁷. То делали ставку на внешнюю (отнодь не северную) суровость горных ландшафтов региона и заостряли древний конфликт человека и природы:

Урал! Быть может, дух недобрый,
Не смея на тебя роптать,
Считает каменные ребра
И мчится с воем вдоль хребта?

⁴¹ Там же.

⁴² «Кампания по завоеванию Арктики, достигшая кульминации во второй половине XIX — начале XX века, представляла собой последний (если не считать таковым освоение космоса) виток колониальной экспансии, разворачивающийся в сторону севера по большей части потому, что все остальные направления были уже недоступны». См.: Скубач О. Страх и Север: Арктика глазами советских полярников 1920–1930-х годов // Новое литературное обозрение. 2020. № 2 (162). URL: <https://magazines.gorky.media/nlo/2020/2/strah-i-sever-arktika-glazami-sovetskih-polyarnikov-1920-1930-h-godov.html> (дата обращения: 10.05.2025).

⁴³ Елена Ранова. Издание из цикла «Сохранить и продолжить» Курганского областного центра литературного краеведения. Курган, 2011. С. 76.

⁴⁴ Ранова Е. Гибель экспедиции // Звезда. 1927. 16 янв.

⁴⁵ Созина Е. К. Север в литературе путешествий начала XX века // Русский тревелог XVIII–XX веков: маршруты, топосы, жанры и нарративы. Новосибирск, 2016. С. 151–182.

⁴⁶ Исетский А. Уральская расплата // Уральский рабочий. 1927. 12 марта.

⁴⁷ Троицкий Г. Зимний сон // На смену! 1929. 13 апр.

А там, где филин глаз таращит,
Быть может, в темных рудниках
Встает людской косматый пращур
С медвежьей кровью на руках⁴⁸

(Валериан Шипулин)

То писали зарисовки с натуры, выбирая чаще всего городские локусы: «В часы торговли и труда / Бывает город жив и люден / И даже шумен — иногда...»⁴⁹ («Свердловску». И. Келлер, под псевдонимом В. Горн).

Городскими зарисовками, к примеру, полна поэма «В Москву без денег» (1925) В. Молчанова, сочетающая пушкинские повествовательные интонации, революционную риторику Маяковского и разухабистую песенность «братвы», знакомую по текстам, скажем, Э. Багрицкого, но перенесенную в студенческие контексты. В поэме В. Молчанова родной Свердловск становится отправной точкой путешествия в столицу на каникулы. «Эй, Алешка, эй ты, Сашка, на машине паровой! / Ты прощай, Свердловск, уральский, областной, / Ой, Москва, Москва, встречай-ка ты скорей / Разудалых востроглазых бунтарей! / Поезд мчится в снежных бурях, даль грызет! / Дым назад! Грудь вперед!»⁵⁰.

Само погружение студентов в столичную жизнь имеет как бытовые измерения, колоритно выписанные в поэме⁵¹ (чуть не подрались на вокзале, поругались с извозчиком из-за дороговизны извоза, отправились в гости к землячке и «забубенной рабфачке» Маруське), так и идеологические: уральцы идут к Кремлю, чтобы посмотреть «на Стенькин эшафот», а затем посетить мавзолей. «Вот он, / Измеривший жизни бег, / Метнувший громы / В двадцатый век»⁵² (именно в этой части поэмы востребованы маяковские образность и интонация). Рядовая программа туриста в Москве — посещение Красной площади — аранжируется революционной риторикой, которая не отпускает читателей до самого финала.

Поэма В. Молчанова обозначает еще одну важную зону на карте советской неоромантической поэзии 1920-х гг., связанную уже не фронтами, а с центром, то есть со столичным топосом. Если, скажем, в «Украине» Е. Вечтомовой отчетливо видна горизонтальная связь между в целом равноправными внутри советской географии Севером и условным Югом, то «В Москву без денег» уже своим названием сигнализирует о иерархизированной географии: свердловские студенты занимают в ее координатах незавидное место, а их поездка из провинции в центр приобретает черты одновременно разбойничьего набега и революционного паломничества⁵³.

Сложно не заметить в общем и в частности: Москва в рамках революционной географии сакрализуется, позиционируется как место наиболее значимых исторических событий, как столица Мировой революции⁵⁴ (см., например, у М. Светлова, обращающегося к Москве: «Хорошо

⁴⁸ Шипулин В. Уральские мотивы. Уралу // Уральская новь. 1926. № 4. С. 6.

⁴⁹ Горн В. Свердловску // Товарищ Терентий. 1925. № 11. С. 5.

⁵⁰ Молчанов В. В Москву без денег // Студент-Рабочий. 1925. № 2–3 (20–21). С. 81. 81–85.

⁵¹ Как пишет М. Н. Липовецкий, «неоромантические поэты создают оксюморонную концепцию субъекта, который реализует несовместимые сценарии и совмещает множественные “я”: вымышленное и литературное соединяется с вполне реальным и повседневным; эти “я” противоречат друг другу, и в то же время они взаимозависимы и неразделимы». См.: Липовецкий М. Н. Указ. соч. С. 16.

⁵² Там же. С. 85.

⁵³ Ср. со стихотворением «Москва» М. Светлова, написанным изнутри столичной парадигмы: «Я хотел бы светить, Москва, / У твоих фонарей научиться». С. 55.

⁵⁴ Троцкий приводит выразительные слова (конституирующие связку власть — столица — революционная география) В. И. Ленина в связи с переносом столицы в Москву. «Что вы калякаете о символическом значении Смольного! Смольный — потому Смольный, что мы в Смольном. А будем в Кремле, и вся ваша символика перейдет к Кремлю». См.: Троцкий Л. Д. Указ. соч. С. 217. А вот и литературное подтверждение этой мысли: «Романтический герой Тихонова находится в более опосредованном мире разрушенного постоянства. Ему не нужно рвать родственных связей, он в каком-то смысле и кровный сын России, и гражданин мира. Национальное и интернациональное причудливо переплетены, однако Россия, Москва, родина революции, по его убеждению, — одновременно центр земли, мессия». См.: Русская литература 1920–1930-х годов. Т. 1. С. 674.

бы нам с тобою / Растянуть на всю Европу фронт»⁵⁵). Отсюда ставка В. Молчанова на топосы, запускающие механизмы постпамяти (что заставило автора практически перейти на слог поэмы «Владимир Ильич Ленин» Маяковского).

Поэма В. Молчанова показательна и в плане взаимодействия географии и истории внутри комсомольской поэзии Урала (впрочем, как и в целом «поэзии боев и походов» 1920–1930-х гг.). История, разумеется, сакрализует то или иное место, определяет его на общей карте «памятной» географии (географии памятных мест). Но, что интересно, далее образуется развилка между милитаристским и мемориальным дискурсами. В частности, в поэме «В Москву без денег» мемориальный дискурс, утверждающий память о конкретных событиях и априорно требующий географической/топографической точности (реализма), является доминирующим. Москва — Красная площадь — Кремль — Степан Разин — Ленин в одной обойме выстраивают историческую перспективу, не позволяющую автору отклоняться от набора фактов революционной историографии. Его функция в таком случае — функция воспроизводства памяти в том содержании и в тех конструкциях, что складываются в официальных нарративах и тиражируются в советском искусстве.

Такая в разной степени исторически конкретизированная география (вспомним «Перекоп» Н. Тихонова, «Думу про Опанаса» Э. Багрицкого и т. д.) имела для неоромантической поэзии 1920-х гг. значение не меньшее, чем экспансионистская география триумфа мировой революции. И чем дальше во времени отодвигались события 1917–1922 гг., тем более востребованной у поэтов-комсомольцев (и примыкающей к ним поэтической молодежи) становилась историческая оптика, и тем крепчал мемориальный дискурс. «Гордой мечтой / Перестроен наново, / Казачьими плетками / Вновь запорот, / Он кару готовит / Последним Романовым — / Холодный, / Спокойный, / Гранитный город»⁵⁶, — репрезентовал Екатеринбург/Свердловск Георгий Троицкий. «Не забудет степь — / Был тяжелый год. / Говорил о том / Весь степной народ. / От Урал-реки / До Алтайских скал / Ветер волком выл, / Тучи гвалтом гнал. / По Киргизии / Вести рыскали / За Призападьем / Громы рыкали. / Был тяжелый год. / Злой Колчак ходил»⁵⁷ — снова перед нами во всей красе география фронтиров, к тому же дополненная фольклорной образностью и интонациями квазиисторического сказа.

Однако мемориальный дискурс в творчестве одних и тех же поэтов мог уступать место дискурсу дистиллированного милитаризма (своего рода апроприация ницшеанства в неоромантической литературе, о чем пишет, например, И. В. Кукулин⁵⁸), не считающегося с исторической и географической конкретикой и уводящего действие фактически в пространство исторически воображаемого. К примеру, утверждение, что В. Луговского «не интересуют судьбы конкретных людей в революции, но сама идея подвига, безымянного героизма»⁵⁹, справедливо и в отношении других советских неоромантиков второй половины 1920-х гг., упоенно рисующих батальные сцены в отрыве от каких-либо конкретных исторических событий. «У Черной речки / Тучный ворон / Чернеет порванным крылом. / Здесь будет / Смерть лихая скоро / Играть / Измятым ковылем»⁶⁰, — предвкушает битву за уральскую станицу Сергей Васильев, без указания точных деталей: где (Черная речка здесь очень неопределенный локус), когда, кто. Хотя вполне понятно, что идет война, остальное не имеет значения. Вместо исторических событий в текстах такого рода — обобщенная событийность Гражданской войны (бои, герои, смерти), вместо топографии — ландшафты, визуальнo аранжирующие расхожие сюжеты боев. Это могут быть степи Казахстана, как в поэме «Азиат» И. Шухова, город без опознавательной разметки улиц и городской символики, как в поэме

⁵⁵ Светлов М. Указ. соч. С. 55.

⁵⁶ Троицкий Г. Старый Екатеринбург // На смену! 1929. 5 окт.

⁵⁷ Молчанов В. Степная быль // Уральская новь. 1926. № 3. С. 4.

⁵⁸ «...Образы большевиков и иных положительных героев сталинского периода явно испытали влияние ницшеанского культа силы и отказа от морали XIX века». См.: Кукулин И. В. История культуры начала и середины двух столетий: параллельное подключение // Воздух. 2017. № 1. С. 237.

⁵⁹ Русская литература 1920–1930-х годов. Т. 1. С. 683.

⁶⁰ Васильев С. Шурка // Уральский рабочий. 1927. 7 нояб.

«Товарищ Аня» И. Келлера, или абстракции с природными компонентами, как в «Балладе об одном из многих» Б. Уральского: «Задумчивых сопок быть, / Где воздух и звезды, / И пыль и песок, / И снова / Песок и пыль»⁶¹. В любом случае обращение к географии в милитаристском дискурсе работало на создание реалистического эффекта на фоне исторически воображаемого сюжета.

С ослаблением троцкизма в молодежной среде в конце 1920-х — начале 1930-х гг., революционных походов за фронтеры в комсомольской поэзии Урала становилось меньше, но мемориальности и абстрактного милитаризма больше. Ожидание боевого похода во имя мировой революции так или иначе вытеснялось ностальгией по тем состоявшимся боям, в которых новым поколениям комсомольцев участвовать не довелось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мы можем видеть, как свойственные романтическому искусству географическое мышление и географическое воображение оказываются востребованными в ранней советской поэзии, освободившейся на следующем этапе после Пролеткульта от влияния символизма и его языка, наполненного обобщениями и абстракциями. Уральские поэты-комсомольцы 1920-х гг., обратившиеся к «поэзии боев и походов», в основном воспроизводили конструкты, которые были выработаны до них всесоюзно известными авторами, и соединяли реалистическую детальность с мечтой о мировой революции, уводящей в воображаемое пространство. Отсюда востребованность географии дальнего прицела, географии экспансии, сосредоточенной на фронтальных зонах или тех территориях, которые находятся за ними и которые требовали включения в революционные процессы. Для этого стоит прийти туда во всеоружии (лейтмотив боевого похода) или громогласно объявить, что чужой земли не существует, как не существует для интернационалистского мышления территориальных границ.

Тем не менее сосредоточенность на фронтах в случае поэтов 1920-х гг. обозначала ощущаемый зазор между утопией мировой революции и политико-административной реальностью. Пространство СССР, то есть торжества революции, растягивалось от Кавказа и азиатских республик до районов Крайнего Севера, от Украины до Дальнего Востока. В поэтических репрезентациях их отличали друг от друга чаще всего ландшафты и бытовые уклады, но объединяли включенность в исторические события, формирующие общую культуру и географическое мышление. Что характерно, в подобной картине мире центром для уральских поэтов-комсомольцев становился отнюдь не Урал, который, разумеется, появлялся в текстах и обозначался с помощью довольно разных стратегий — от экзотизации пространства до использования бытовых зарисовок, но Москва — столица не только СССР, но и мировой революции, хранительница сакральной памяти о революционных событиях, которые требовали продолжения мирового пожара.

География в неоромантической поэзии 1920-х гг. (в уральских контекстах — комсомольской) оказалась непредставима без исторического слоя. Отношения истории и географии здесь формировали два дискурса, по-разному соотносящие реальное и воображаемое. Условный мемориальный/исторический дискурс утверждал приоритет исторической и географической/топографической точности, реализма и даже документализма описаний. Условный милитаристский дискурс делал ставку на романтику боев за революцию и ее ценности, не считаясь с исторической реальностью и географической конкретикой. Воображаемое здесь, несомненно, имело больший удельный вес, в то время как ландшафтная зрелищность и некоторая топография создавали признаки реалистичности происходящего.

Все эти особенности проявляли параметры географического мышления и географического воображения своего времени, репрезентаторами которого неизбежно становились поэты и их тексты.

⁶¹ Уральский Б. Баллада об одном из многих // Уральский рабочий. 1927. 31 июля.

References

- Dobrenko E. [From Komsomol Literature to the Party “Young Guard”]. *Sotsrealisticheskiy kanon* [Socialist Realist Canon]. Saint Petersburg: Akademicheskii proyekt Publ., 2000, pp. 193–208. (In Russian).
- Gieseking D. D. [Geographical Imagination]. *Syg.ma*. Available at: <https://syg.ma/@vlad-kapustin/dzhien-dzhiek-giziekigh-gieoghrafichieskoie-voobrazhnyi> (accessed: 10.05.2025). (In Russian).
- Kornienko N. V. [“Yesenin’s Cut Is Too Tight for Me...” Yesenin’s Text and Komsomol Poetry in 1925–1926]. *Nash sovremennik* [Our Contemporary], 2009, no. 10, pp. 236–257. (In Russian).
- Kukulin I. V. [History of Culture of the Beginning and Middle of Two Centuries: Parallel Connection]. *Vozdukh* [Air], 2017, no. 1, pp. 235–240. (In Russian).
- Levchenko M. A. *Industrial’naya svirel’: Poeziya Proletkul’ta 1917–1921 gg.* [Industrial Flute: Poetry of the Proletkult 1917–1921]. Saint Petersburg: SPGUDT Publ., 2007. (In Russian).
- Lipovetsky M. N. [Neoromanticism in Russian poetry of the XX–XXI centuries: Meaning and Scope of the Concept]. *Filologicheskii klass* [Philological Class], 2018, no. 1 (51), pp. 13–18. (In Russian).
- Ovtcharenko A. Yu. [“Saber and Book — What More?”: Romance of the Revolution in Russian Literature of the 1920–1930’s]. *Vestnik Rossiyskogo universiteta družby narodov. Seriya: Voprosy obrazovaniya: yazyki i spetsial’nost’* [RUDN Journal of Education Issues: Languages and Specialties], 2015, no. 1, pp. 164–169. (In Russian).
- Podlubnova Yu. S. [Formation of the Cultural Identity of the Soviet Person: Youth Literary Groups of Ekaterinburg/Sverdlovsk in the 1920s]. *Chelovek sovetskii: za i protiv = Homo soveticus: pro et contra* [Soviet Person: Pros and Cons = Homo Soveticus: Pro et Contra]. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta Publ., 2021, pp. 81–100. (In Russian).
- Ronen O. [Lexical and Rhythmic-Syntactic Repetitions and “Uncontrolled Subtext”]. *Izvestiya Rossiiskoi akademii nauk. Seriya literatury i yazyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language], 1997, vol. 56, no. 3, pp. 40–41. (In Russian).
- Russkaya literatura 1920–1930-kh godov. Portrety poetov. V 2 t.* [Russian Literature of the 1920s–1930s. Portraits of Poets. In 2 Vols]. Moscow: IMLI RAN Publ., 2008, vol. 1. (In Russian).
- Semenova S. G. *Russkaya poeziya i proza 1920–1930-kh godov. Poetika — videniye mira — filozofiya* [Russian Poetry and Prose of the 1920s–1930s. Poetics — Vision of the World — Philosophy]. Moscow: IMLI RAN Publ.; Heritage Publ., 2001. (In Russian).
- Skubach O. [Fear and the North: The Arctic through the Eyes of Soviet Polar Explorers of the 1920–1930s] *Novoe Literaturnoe Obozrenie* [New Literary Observer], 2020, no. 2 (162). Available at: <https://magazines.gorky.media/nlo/2020/2/strah-i-sever-arktika-glazami-sovetskih-polyarnikov-1920-1930-h-godov.html> (accessed: 10.05.2025). (In Russian).
- Sokolov K. S. [Hero of the Asian Frontier in Soviet Poetry of the Late 20s–30s]. *Vestnik Permskogo Universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, iss. 4, pp. 123–130. DOI: 10.17072/2073-6681-2019-4-123-130 (In Russian).
- Sozina E. K. [The North in Travel Literature of the Early 20th Century]. *Russkiy travelog XVIII–XX vekov: marshruty, toposy, zhanry i narrativy* [Russian Travelogue of the XVIII–XX Centuries: Rout, Locus, Genre and Narrative]. Novosibirsk: NGPU Publ., 2016, pp. 151–182. (In Russian).
- Tintin H. *Obraz Kitaya v poezii russkoy dal’nevostochnoy emigratsii (1920–1940-ye gody): kand. dis.* [The image of China in the Poetry of Russian Far Eastern Emigration (1920–1940s): Diss. Cand.]. Perm, 2024. (In Russian).
- Vasilyev I. Ye. [The Topics and Mythopoetics of the Revolution in the Mass Poetry of the Urals between 1917 and 1919]. *Izvestiya Ural’skogo federal’nogo universiteta. Seriya 2. Gumanitarnyye nauki* [Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts], 2017, vol. 19, no. 3 (166), pp. 128–145. DOI: 10.15826/izv2.2017.19.3.048 (In Russian).
- Vidugirite I. *Gogol’ i geograficheskoye voobrazheniye romantizma* [Gogol and the Geographical Imagination of Romanticism]. Moscow: NLO Publ., 2019. (In Russian).

Vlasova E. [The Urals from the Train Window: Communication Tools and Travelogue]. *Kul'tura puteshestviy v Serebryanom veke. Issledovaniya i retseptsii* [Travel Culture in the Silver Age. Research and Receptions]. Ekaterinburg; Moscow: Kabinetnyy uchenyy Publ., 2020, pp. 249–258. (In Russian).